

Д. Д А Р

Из книги "Маленькие заветы"

КУВШИН

Как нибудь ты встретишь меня под вечер на улице, изнемогающего от усталости, жары и жажды, и спросишь:

- Откуда бредете вы с этим мешком за плечами?

- С ярмарки, скажу я, - с ярмарки.

- Что несете вы в своем мешке? - спросишь ты.

- Черепки, - скажу я, - битые черепки.

- Зачем вы купили битые черепки? - спросишь ты.

- Я не купил их, - скажу я, - я продавал кувшин. Ах, какой это был отличный кувшин! Я делал его сорок лет, почти всю жизнь и был самым счастливым человеком на свете, потому что думал, будто я один могу сделать такой кувшин. Ах, какой он был большой! Какой удобный! Какой красивый! Я думал, что имея такой кувшин, можно обойтись без водопровода, без колодца, без реки, потому что воды в нем каждому хватит на всю жизнь, и всегда она будет свежей и холодной. Я думал, что как только принесу свой кувшин на ярмарку, покупатели окружат меня и будут выхватывать кувшин из моих рук, разглядывая его и восхищаясь им, а мне отвалит на старость полный мешок благодарностей и почестей. Ах, какой это был кувшин!

- Как же вы не сберегли такой прекрасный кувшин? - спросишь ты.

- Я берег его, - скажу я, - очень берег. Обеими руками прижимал его к груди. Но вскоре увидел другого продавца. Он тоже обеими руками прижимал к груди свой кувшин. А потом я увидел и третий кувшин, и четвертый, и десятый. И были те кувшины несколько не хуже моего, а некоторые даже лучше. И

не покупатели теснились вокруг меня, а я вместе с другими продавцами кувшинов толкался вокруг редких покупателей, протягивая им свой кувшин и расхваливая его громким голосом. Но голоса других продавцов были такие же громкие, как мой, а некоторые кричали еще громче. А между тем, пот застилал мои глаза, потому что солнце пекло все неистовее, вода в канавках пересохла, из единственного водопроводного крана возле уборной еле-еле капали редкие ржавые капли. И все, кто пришел на ярмарку, и продавцы и покупатели, толпились у этого крана, подставляя под него ладони и отталкивая друг друга. И я тоже отталкивал других, чтобы напиться и, складывая ладони лодочкой, я выронил свой кувшин, и вот... остались только черепки.

— Зачем же вы несете черепки домой?— спросишь ты.

— А как же,— отвечу я,— не возвращаться же с ярмарки с пустым мешком. Я думал, что он будет набит благодарностью и почестями, которые согревают старость, как сухие поленья в печке, а вот видишь: он набит черепками.

— Ну что ж,— захочешь ты меня утешить,— вы покажете эти черепки своим детям и внукам и скажете: "Я тоже всю жизнь трудился, как другие, а то, что мой кувшин разбит, так в этом не моя вина". И вашу старость будут согревать эти черепки, как других согревают сухие поленья в печке.

— Нет,— отвечу я тебе,— я не хочу, подобно другим старикам, сидеть у своего разбитого кувшина, напыщенный и важный, будто мой кувшин цел и служит людям. Я отнесу мешок к чистому и холодному роднику, который звенит в роце. Я высыплю в родник все свои битые черепки и они будут лежать на дне вместе с камешками и звон родника станет от этого еще мело-

дичнее. А сам я сяду на берегу, выпу свой старый кисет и закурю трубку. И, когда увижу на дороге прохожего, который спешит на ярмарку, крикну ему:

— Постой, сынок. Если ты хочешь пить, то сверни сюда и напейся из этого кувшина.

И, услышав мой голос, ты, быть может, свернешь с дороги и, став на колени, напьешься из родника, а потом бросишь в мой кисет медный пятак своей благодарности.

— Спасибо тебе, старик, отличная водичка! — скажешь ты, утирая рукой мокрые губы.

И тогда мой старческий вечер станет не грустным, а милым.

+ + +

СТУК НАШИХ КОЛЫТ

Вы были похожи на двух бездомных кошек, которые бредут куда-то под дождем по опустевшей городской улице— мокрые, жалкие, одинокие.

Так и ты со своей девчонкой бродил весь тот день по улицам, бродил без дела, без денег, без цели; простуженный, озлобленный и несчастный.

И, когда я увидел в дверях твое отчаянное лицо и вылизанные нестриженные черные волосы, мокрые от дождя, и глаза, всегда окрашенные неисчерпаемой скорбью, я прежде всего подумал, как бы не сделать какого-нибудь опрометчивого шага и не обидеть тебя своей безответственностью или безответностью.

— Вот и я, — сказал ты, войдя в мою комнату, и втащил за руку свою девчонку, маленькую и жалкую, тоже простуженную и вылизанную носом. — Говори, что больше не приду, а пришел, — сказал ты, — можете выгнать, если не рады — не обижусь. Никого не хочу видеть, и вас тоже не хочу, просто деваться некуда, вот и пришли к вам.

В каждом твоём слове звучало желание обидеть и просьба о пощаде. Я хотел тебе что-то сказать, но ты отмахнулся:

— Молчите уж, заранее знаю все, что скажете!

И верно ведь, что я мог сказать тебе такого, чего уже не говорили до меня другие?

Я понимал, что тебе сейчас очень плохо и тяжело, как бывает только в шестнадцать или семнадцать лет; что весь мир кажется тебе враждебным и чужим, потому что в глубине души ты чувствуешь себя человеком исключительным, выдающимся, быть может, даже гениальным, но никто в мире этой твоей

исключительности не понимает, да и ты сам не знаешь, и не можешь понять, в чем она состоит— эта твоя исключительность, и ей нет в твоей жизни никаких подтверждений: никого ты ни в чем не опередил, и талантов никаких не обнаружил, и в школе учишься плохо, и все свои поступки совершаешь как бы наперекор всем окружающим, наперекор самому себе; и все тебя осуждают, только одна она, твоя жалкая сопливая девчонка, она одна не осуждает тебя, будто догадывалась— хотя не может об этом догадываться— что твои судороги, это судороги человека, еще не запертого в клетку, /еще не загнанного в стадо/, будто догадывалась, что пройдет немного времени и эти судороги кончатся, и ты придешь ко мне однажды, счастливый и уверенный, и скажешь:

— Наши считают, что моя идея...

И ты пришел ко мне однажды, счастливый и уверенный, и сказал:

— Наши считают, что моя идея...

И хотя я еще не знал, что считают "наши" по поводу твоей идеи, но почувствовал, что не могу запереть тебя ни в клетку "наших", с которыми я дружу, ни в клетку "не наших", с которыми я вражду, ни в клетку евреев, хотя ты родился евреем, ни в клетку русских, хотя ты вырос среди русских, ни в клетку рабочих, хотя отец устроил тебя на завод, ни в клетку интеллигентов, хотя ты читаешь Монтеня и Стерна, ни в клетку атеистов, хотя ты не веришь в Бога, ни в клетку верующих, хотя ты веришь в предначертанность своей судьбы.

/Я не мог расчленить тебя на части или разобрать на детали, как разбирают радиоприемники или автомобиль, чтобы каждую твою часть втиснуть в соответствующую ей клетку./

Если бы я попытался это сделать, то мне пришлось бы запереть в клетку всего тебя целиком, сдавливая и сжимая, ломая и калеча твои ребра, руки и ноги, пока ты не превратишься в отвлеченное понятие "еврей", "русский", "интеллигент", "атеист", "верующий", в отвлеченное понятие, которое подобно мертвой цифре, удобно для сложения, вычитания, умножения и деления, но лишено тревоги твоих матовых глаз, трепета твоего ломкого голоса, смятения твоих мыслей, энергии твоих длинных пальцев.

В моем представлении ты существуешь единый, неделимый и грандиозный, как вселенная и настолько превосходишь свою национальность, свое гражданство, социальное положение и свои идеи, насколько лестница превосходит каждую из своих ступеней.

Я хотел бы увести тебя подальше от этого странного зверинца, где все люди рассортированы по клеткам, а тот, кто еще бродит на свободе, какой-нибудь шестнадцатилетний юнец, чувствует себя сиротливым и беззащитным, пока ему не удастся втиснуться в одну из клеток или пристать к одному из стад, которые пасутся на щедрых пастбищах планеты: к стаду евреев или к стаду русских, к стаду рабочих или к стаду интеллигентов, к стаду атеистов или к стаду верующих.

Но мне некуда было увести тебя, потому что и сам я пасусь с одним из стад. Мое стадо не хуже других, а иногда мне кажется даже, что оно лучше других.

Благородное знамя нашего стада обгажено кровью тех, кто отдал за него жизнь. Неумолкающая дробь барабана неутомима, как стук сердца.

От топота наших копыт содрогаются горы. И когда меня

спрашивают, кто я? я с гордостью отвечаю, что я еврей или русский, рабочий или интеллигент, атеист или верующий.

В стаде спокойно и безопасно: куда все, туда и ты. Никакой личной ответственности, никакой обременительной свободы.

В каждом стаде есть вожак, есть традиция, есть знамя и есть барабан.

И барабаником там— Идея.

Идеи поджидали тебя на каждой книжной странице, в разговоре с учителями и товарищами.

Они были обольстительными, как девушки. Одна прелестнее другой.

И все они напечтывали тебе: "Я ждала только тебя, только ты мне нужен, мой мальчик! Ты будешь моим рыцарем, верным до гроба. Ты будешь мне прислуживать у стола и у плахи, и мое славное знамя будет всегда развеиваться над тобой. Посмотри на великих писателей, на мудрецов и ученых,— напечтывали тебе Идеи,— каждый из них служит своей идее. У тебя уже тоже пробиваются усики, ты созрел умом, сердцем и телом. Так поклянись же мне в верности, мой маленький мужчина, и я поведу тебя в моем стаде под шелест и дробь барабана".

Потом я увидел тебя, когда ты прислуживал своей Идее у стола. Торжественно шелестели знамена. Тревожно бил барабан. Горели костры. Вокруг громадной кучи фактов и умозаключений ни днем ни ночью не прекращалась битва. Стада приверженцев одной идеи сражались с приверженцами другой.

Идеи были разные: благородные и бесстыдные, истинные и лживые, старые и молодые.

Несмотря на ожесточенные битвы, каждая идея то и дело

присаживалась на поле боя возле своего барабана, который превращался как бы в походный столик, и раскрывала рот-идеи постоянно нуждались в пище.

Тогда часть стада, бросая оружие, хватала лопаты и старательно рылась в куче фактов и умозаключений.

Твоя Идея была величественна и прекрасна. Ее лицо было будто высечено из какого-то вечного камня.

А ты был такой же, как раньше, только в твоих глазах светилась восторженная влюбленность и преданность, и когда ты бережно и галантно подносил к раскрытой пасти Идеи найденные на свалке факты и умозаключения, все стадо радостно топало копытами, потому что чем упитаннее и самодовольнее идея, тем громче и победнее она бьет в барабан, и тем сильнее и увереннее чувствует себя все стадо.

Потом я увидел тебя, когда ты прислуживал своей Идее у плахи. Тогда ты уже отпустил бородку, отчего казался старше и мужественнее. Ты прижимал к плахе тонкую шею своей девочки.

"Я люблю тебя, — шептала девочка чуть слышно, — я люблю тебя и знаю, что и ты меня любишь, и мне ничего другого в жизни не надо, только спать с тобой, рожать тебе детей, варить тебе обед. Не сердись на меня за то, что мне ничего больше в жизни не надо, не сердись на меня за это, мой мужчина, борец и герой."

Но слова твоей девочки были такие будничные и тихие, как капельки слез, которые текут по щекам, и их заглушала громовая и властная речь Идеи.

"Откажись от своей девочки, она будет тебе только мешать, — говорила Идея, — ведь твоя любовь к ней, это любовь

только к ней одной, к одному человеку. А я— это твоя любовь ко многим, к тысячам людей, ко всему человечеству. Но человечество ревниво и требовательно,— говорила Идея,— ему нужен ты весь целиком. Оно не хочет делить твою любовь с какой-то девочкой. Откажись от своей девочки, мой рыцарь, пожертвуй счастьем одного человека, ради счастья многих, пожертвуй своей никому не интересной, компактной, постельной, шепотной любовью ради громадной и громкой любви, озаренной участием и уважением всего нашего благородного стада. Пожертвуй девочкой, мой мужчина, боец и герой! Предай ее! Предай! Предай!" И каждое слово Идей падало на нее девочки неоспоримо, как удар топора.

.....

— Ты счастлив?— спросил я тебя, развывая коньяк по рюмкам.

Ты ответил:

— Счастлив.

Твое красивое лицо, обрамленное бородкой, отдаленно напоминавшее лицо Христа, было одухотворено отблеском того пламени, которое пылало в твоей душе.

— А она?— спросил я.

— Кто?

— Та, с которой ты приходишь ко мне.

— Ах, она!— и лицо твоё на мигновенье потухло.— Я не знаю где она.

Мы оба замолчали.

— Вы меня осуждаете?— спросил ты.

Я не мог сразу ответить и долго думал. Долго и трудно. Мучительно трудно.

- Нет, - ответил я, - не осуждаю.

А позже, когда ты ушел, я убрал со стола пустую бутылку и рюмки, смахнул крошки и распахнул окно.

Я распахнул окно в голубоватые предутренние сумерки цветущего сиренья Марсова поля. Там было очень тихо. Город спал.

Но какой-то еле уловимый гул как бы вздымался над ним и опадал в неторопливом ритме ночного дыхания.

Может быть, это был топот стад, отдаленный стук колес, неустанно днем и ночью топчущих землю.

Я стоял у окна, думая о тебе. И вдруг мне вспомнились все те, кому я причинил боль во имя идеи: моя худенькая седая мать, схватившая меня за руку и молившая: "Не уходи, ты один у меня, не уходи!", и бывший друг, а нынешний враг, несчастный горбун, одинокий, как звезда в небе, которому я сказал: "Вон из моего дома, и чтобы я больше никогда тебя не видел!"

И он стал пятиться к двери и смотрел на меня так, будто падал в колодезь.

И немецкого офицера я вспомнил - безусого голубоглазого глупого мальчика, который попал в плен, и я вел его починим лесом в штабный блиндаж, а он все твердил и твердил какую-то брань по поводу евреев и коммунистов.

Все они возникли передо мной за окном, как во сне, бесплотные, полужабытые, неясные очертания на пустынных светящихся дорожках Марсова поля.

И мне показалось, что на одну секунду я расслышал стук своего сердца. Оно жалобно скрипело и скрежетало, как сломанное дерево на ветру.

Но слышалось мне это лишь одну секунду, а потом тот неверный, призрачный и болезненный скрежет снова был заглушен тяжким, уверенным и торжествующим солдатским топотом, глухо раздававшимся над предутренними пустынными прекрасными улицами города.

И тогда я вдруг содрогнулся своим старческим сердцем и проклял идею, эту безжалостную, бесчеловечную старуху, эту богиню стад, эту седую вещь с барабаном в руках.

Я проклял твою идею, и свою идею, и все другие, истинные и лживые, старые и молодые, потому что любая идея бьет в барабан и ведет за собой стадо.

И стук наших копыт громче, чем стук наших сердец.

ooo

ВОСПОМИНАНИЕ О ВОЙНЕ

Нет, я не хотел застрелить себя, я хотел жить, я хотел застрелить противника, а застрелил себя; долго-долго целился, чтобы не промазать, и спустил курок, и застрелил себя, и стал мертвым.

А, может быть, я не себя застрелил, а противника... А, может быть, не я застрелил противника, а он выстрелил в меня. А, может быть, противник застрелил вовсе не меня, а моего лучшего друга Мишу Троицкого... А, может быть, Миша Троицкий застрелил его... Ведь на войне было все как в тумане, как в дурном сне, так что разобраться в том, кто кого застрелил, не так-то просто, тем более, что все мы были тогда так похожи.

На нас надели железные каски, и мы прокричали присягу, а потом маршировали по главной улице под мужественный звон оркестра, и держали равнение направо, на группу полковников и майоров, толпившихся вокруг генерала, и вся дивизия, повернув направо деревянные лица, одновременно поднимала ногу и взмахивала рукой— моей рукой, и рукой Миши Троицкого, и рукой всех других солдат, шагавших с нами в одном строю.

И это уже была не моя рука, и не рука Миши Троицкого, и не рука какого-нибудь другого солдата; это была наша общая рука, и когда мне захотелось потереть глаз, в который что-то попало, я не мог этого сделать, потому что не мог же я потереть свой глаз могучей общей рукой, принадлежащей сотням, а может быть, и тысячам других солдат, у которых глаза в тот момент вовсе не чесались.

И тогда я почувствовал, что не только мои руки и ноги

стали общими, но и все другое, что раньше принадлежало мне одному, стало общим и у меня не было больше ни своего тела, ни своего имени, ни своих забот и воспоминаний.

И от этого мне вдруг стало необыкновенно легко, будто я выскользнул из своей личности и, как бесплотный ангел, витаю где-то в пространстве, вне себя и вне жизни.

Это было какое-то восхитительное, никогда прежде не испытанное чувство освобождения от всякой ответственности и необходимости выбора решений; какое-то ликующее торжество безволия и пассивности, граничащее с воодушевлением.

Но так продолжалось недолго, только до тех пор, пока мы шагали по асфальту и перед нами гремел оркестр, и лихой молоденький офицер, отсчитывая ритм, бойко покрикивал: "Левой! Левой!"

А потом оркестр свернул в сторону и пошел обратно, а мы продолжали идти все прямо, и асфальт сменился влажной грязью проселка, и лихой офицер не отсчитывал больше ритма, а мы все шли и шли в своих грязных серых шинелях, пряча в рукава пачки, и тяжелые грузовики с надрывным воем бились в грязи вместе с нами, и мы копали себе на ночь норы, а утром выползали из нор и снова плелись по дороге, потные и усталые.

И
И я опять был втиснут в свои собственные руки, ноги, заботы и воспоминания. Никогда прежде я не чувствовал их такими моими — мои дорогие ноги, потертые кирзовыми сапогами, и мои дорогие заботы о привале и обеде, и мои дорогие воспоминания о довоенной жизни.

Все, что свершилось со мной в прошлом, и все, что должно свершиться в будущем, теперь казалось мне чрезвычайно значительным, необыкновенным, присущим только мне одному.

И я тащил свою непрожитую жизнь, как мешок на спине, и спина моя гнулась и гудела под тяжестью этой драгоценной ноши.

Так я шел день за днем, не зная куда нас ведут, и где мы ночуем, и где будем завтра. Но однажды в ясное осеннее утро фронт открылся передо мной во всей своей беспомощной реальности.

Он оказался змеящейся траншеей, набитой живыми и убитыми солдатами. Полузасыпанные землей, они окоченело лежали и сидели в различных позах, спрятав под низко надвинутыми касками свои мертвые лица.

Выглянув из траншеи, я увидел редкую ровницу с обгорелыми деревьями и посеребренной травой. Место было незнакомое — оно могло находиться под Ленинградом, или под Кенингсбергом, или под Лондоном, или под Варшавой.

Но все в этом незнакомом месте было родным с детства: и эти изыблые серебристые травинки, и зеленые кустики брусники, и муравейник у подножия дерева, и остекленевшая лужица, сверкающая на земле у самого подбородка.

В этой зеркальной лужице, подернутой тонким стеклышком льда, далеко-далеко, в высочайшей глубине плыло легкое светлое облачко и слегка колыбалась жесткая травинка.

Я подтянулся повыше, чтобы лучше разглядеть отражение, и тогда увидел в голубоватом зеркальце край своей каски и лицо человека.

Это было незнакомое лицо, уже немолодое, серое, обросшее рыжеватой бородкой, с глубокими складками возле рта. Но было в этом чужом лице что-то неуловимо родное, будто это мое собственное лицо, хотя оно никак не могло быть моим, по-

тому что мне тогда было всего девятнадцать лет, а этому человеку лет сорок, не меньше.

И хотя из под его каски и выбивалось конечно моих русских и мягких мальчишеских волос, но это конечно казалось чужим, будто оно залетело сюда из чьей-то далекой юности, будто дунет сейчас ветерок и полетит оно дальше, а останутся на этом старом лице только небритая борода и трагические борозды возле рта.

Так я всматривался в свое чужое лицо, когда услышал тонкий, короткий, но пронзительный свист и почти в тот же самый миг возле меня взметнулся мгновенный фонтанчик мерзлой земли, и несколько комков или камешков больно ударили меня по руке.

Я понял, что это просвистела и вонзилась в землю пуля противника, и стал искать его взглядом.

Он оказался недалеко, за небольшим холмиком. Я отчетливо увидел его каску и под каской лицо, поразившее меня сходством, удивительным, почти невозможным сходством с тем лицом, которое я только что разглядывал в замерзшей луже.

Лицо моего противника было тоже немолодое, серое, обросшее рыжеватой бородкой, с глубокими складками возле рта. И в этом чужом лице было что-то неуклонно родное, будто это мое лицо, если бы, конечно, я был постарше. И еще я увидел колечко волос, трогательное колечко мягких русских волос. Но и оно казалось залетевшим сюда случайно.

Противник целился в меня тщательно и не спеша, чтобы на этот раз не промахнуться, и раньше, чем раздался его выстрел, я вскинул свою винтовку и тоже прицелился, и положил палец на спусковой крючок.

Спусковой крючок был доверчивым и податливым. Он все при-

гибался и пригибался под неторопливым нажимом моего пальца, и оставалась всего какая-то доля секунды до выстрела, и в эту долю секунды я спросил своего противника или самого себя:

- Ты хочешь стать убийцей?

- Нет, - ответил противник или я сам, - но я не хочу быть убитым, а если я не убью тебя, то ты убьешь меня.

- А мы никак не можем жить оба? - спросил я.

- Никак, - ответил противник или я сам, - потому что я защищаю истину и справедливость, а ты идешь против них.

- Нет, - сказал я, - это я защищаю настоящую истину.

- Но откуда ты знаешь, что твоя истина истиннее, чем моя? - спросил противник или я сам.

- Как же, - ответил я. - Меня убедили в этом мои книги и мои учителя, мои газеты и мое радио, и мое сердце тоже.

- Но мои книги и учителя, мои газеты и радио, и мое сердце убедили меня в противоположном, - сказал противник или я сам.

- Так что же нам делать? - спросил я.

- А что мы с тобой можем делать? - спросил противник или я сам. - Мы можем делать только то, что делают все другие: защищать истину. Ты свою, а я - свою.

- А, может быть, можно обойтись совсем без истины, и без твоей и без моей? - с робкой надеждой спросил я.

- Нет, - помолчав, сказал противник или я сам. - Без истины обойтись нельзя. Если не будет никакой истины, то наступит полная свобода. Как же тогда жить?

- Но чем же плохо, если полная свобода? - удивился я. - Люди мечтают о свободе.

- Ты думаешь? - спросил противник или я сам. - А тебя не пугает, что тогда мы должны будем сами отвечать за все свои

поступки и их последствия? Сказать тебе по правде, так я просто не решусь тогда сделать ни одного шага, потому что как же будет отличить какой шаг правильный, а какой ошибочный?

— А как мы теперь отличаем правильный шаг от ошибочного?— спросил я.

— О, теперь это очень просто,— ответил мой противник или я сам.— Теперь мы каждый свой шаг проверяем истиной. Моей истиной или твоей. И истина нам подсказывает, что хорошо, что плохо, и куда надо ступить: вперед или назад, направо или налево. С истиной легко жить и умереть. Главное, это верить в нее, и тогда уже ни о чем можно не беспокоиться.

— Но как же не беспокоиться, когда я сейчас должен убить тебя и стать убийцей?— сказал я.

— Ну и что ж,— ответил противник или я сам,— не убивай, философствуй,— и по его прищуренному тревожному глазу и по каменному лицу я понял, что его палец, нажимающий спусковой крючок, уже почти дошел до той точки, когда раздастся выстрел, который убьет меня.

Но мой выстрел прозвучал раньше, чем выстрел противника.

Голова его дрогнула и каска покатилась в сторону. Он уткнулся лицом в землю, и страшный земляной холод проник в мои глаза и сжал тело.

А когда я снова взглянул в остекленевшую лужицу, сверкающую на земле возле моего подбородка, то опять увидел в ней себя, но это уже был не тот я, что прежде. Это был победитель, который до конца своих дней будет оплакивать побежденного.

П А Р К

Но самое удивительное и прекрасное, что открылось мне в старости, это был маленький, нежный и таинственный парк, отгороженный мягкой стеной от всего мира и замкнутый в этой стене, как тело замкнуто в одежду.

Этот парк был, по существу, безграничен и велик, как мир и равен ему неисчерпаемостью тех возможностей, которые он предоставлял мне. Он был особой страной, которая таила в себе такое удивительное сочетание упругой мужественности и подавленной женственности, такое гармоническое сочетание этих двух сторон природы, какое бывает лишь в самых совершенных произведениях искусства.

Все нежные перстистые пригорки этой сказочной страны, все ее таинственные долины, и пластические округлости, и солнечные полянки, и тенистые аллеи были озарены каким-то мерцанием, будто что-то освещало их изнутри, как бывает освещен абажур, и таинственный, глубокий, трепещущий этот свет — свет духовности, человечности, чувства — быть может, этот свет излучала струящаяся под землей горячая человеческая кровь, — свет этот придавал всему некую значительную таинственность, от которой у меня захватывало дыхание и было такое чувство, будто я прикасаюсь к чему-то хрупкому, как сон, который каждую секунду может прерваться.

Я ступил на эту нежную взволнованную землю, и в тот же миг потерял самообладание и со всей страстью неосуществимой мечты, сломя голову бросился топтать и мять шелковистый покров травы, ломая сучья, заглядывал в тенистые аллеи и, бросившись плашмя на землю, хотел выпить до дна неистощимый по-

ток чистой родниковой влаги.

Но все в этой стране оказалось призрачным и неуловимым. Прильнув к роднику, я не мог ни на миг удовлетворить свою жажду. И нежную землю было не захватить в горсть. И от этого неутолимая жажда все возрастала и возрастала, и когда я вышел из этой сказочной страны, то мне сопутствовало лишь горькое сожаление о том, что я носился по этому парку сломя голову и поэтому лишил себя несравненно большего наслаждения, которое наверное испытал бы, если бы исследовал этот парк не спеша, сдерживая дрожь своих рук и ног, неторопливо прикасаясь к каждому нежному листику, смакуя языком каждую каплю родниковой влаги, надолго прижимая всем телом к каждой солнечной лужайке и терпеливо, с мудрой осторожностью, карабкаясь на скалы и погружаясь в ущелья.

Я хочу вернуться в эту кружащую голову страну. Я запомнил на всю жизнь каждый ее холм, каждую ложбинку, каждый родник. И запомнил не потому, что видел и осязал их, а именно потому что не успел ни увидеть, ни почувствовать их; я запомнил только их неузнаваемость и неопутимость. И в этом их власть надо мной.

Март 1968 г.

ЧАСОВНЯ В ОГНЕ

I.

Я не люблю своего прошлого. И чужого тоже. Я не люблю день вчерашний— он уже прожит, исчерпан. Вчерашний день это вчерашние иллюзии, а я живу сегодняшними иллюзиями.

Каждый день я занят тем, что вытупливаюсь из яйца, как цыпленок. Рано утром я начинаю пробивать скорлупу вчерашних иллюзий и долблю ее до позднего вечера. А, когда наступает ночь и я полностью освобождаюсь от вчерашних иллюзий, то оказывается, что я уже окружен скорлупой новых иллюзий.

Я старый человек и живу на громадной куче битой скорлупы. Она мертва, эта скорлупа, и ее не могут оживить даже самые живописные воспоминания. А я люблю только живое. Но все живое текуче, неуловимо и сомнительно, будто я барахтаюсь под водой. И стоит мне хотя бы на секунду перестать барахтаться, как вода застывает вокруг меня подобно стеарину, замыкая меня в мое подобие.

2.

Мой маленький прелестный Божок!

Вот и улетел ты в горы, чтобы, как и подобает Господу Богу, пребывать где-то там, в надоблачных высотах, среди скал, ущелий, туч и молний. Ты улетел /или отлетел?/ и у меня не осталось нежной улыбки твоих изящно очерченных губ, и матовой голубизны твоей шеи, и тоненькой неявно очерченной и почти прозрачной фигурки, которая своей прозрачностью как-то непонятно связана с твоей молчаливостью, так редко присущей простым смертным, и с умением слушать не только лепестками

ушей и глазами, но так, будто ты весь — настроенный на запись магнитофон. Твоя загадочная прозрачность как-то связана и с твоей способностью проникать в стихи, в музыку, в живопись, в цветок, в облако, сквозь их поверхность и внешность, в самую глубину, на самое дно, куда не может проникнуть ни зрение, ни слух, ни ^{сознание} ~~вещание~~ .

А мне Бог не дал этой способности, и хотя я всю жизнь топчусь на шумной толкучке литературы и служу литературе, как верная собака: терплю от нее побои, меряну на ее пороге и выпрашиваю ее милости, но всегда чувствую свою неуклюжесть и неповоротливость; тупым молотком разума я все бью и бью по ореху, и когда добиваюсь, наконец, до ядра, то не понимаю, что в этом ядре было для меня столь приманчивым. А приманчивым, оказывается, был только ты, мой Божок, прелестный своей незащищенной одухотворенностью. Но ты выпархивал из ореха сквозь первую же трещинку и там оставалось лишь что-то подобное мертвому телу покинутому душой.

Метафора эта все разворачивалась и разворачивалась в моем воображении, но пришел поэт А., и метафора тотчас же свернулась обратно, как улитка залезает в свою раковину. И я прикрыл раковину чистым листом бумаги, чтобы чужое дыхание не заглушило ее чуть слышного шороха океанских глубин.

Поэт А., как всегда, был одет во что-то невероятно яркое, обтягивающее, франтоватое и вызывающее заграничное. Он держался развязно, но в умных глазах этой маленькой уже немолодой обезьянки была такая безысходная тоска, что я почувствовал, как обычно чувствовал в его присутствии, что виноват перед ним за свою пристойную одежду, пристойный возраст, пристойную комнату, за весь свой омерзительно-пристойный образ жизни, который как бы оттенял и даже подчеркивал неприс-

тойность его обнаженно-беспомощного существования. Но не успел я еще проявить к гостю свою несколько преувеличенную, хотя и подлинную почтительность, как раздался телефонный звонок и я услышал твой голос.

Он был таким неожиданным, что взорвал весь мой жизненный опыт, все "может быть" и "не может быть", и я доверчиво слушал тебя, убежденный, что ты говоришь откуда-то издалека, из заоблачных высот. Но мое удивление вызвало не то, что ты звонишь мне оттуда, откуда звонить по телефону нельзя, а то, что в твоей негромкой речи я услышал два знакомых слова: аэродром и самолет. И тогда я сообразил, что ты еще не улетел, что вылет самолета задерживается, а ты звонишь из аэропорта.

Как только я положил трубку, так сразу же решил немедленно поехать и в аэропорт, чтобы еще хоть одно мгновение поглядеть на своего Божка. Торопливо выпроводив ничего не понявшего поэта А., я вышел на балкон. Сквозь мелкий и частый дождь светили фонари. По шоссе проносились в аэропорт полупустые автобусы.

Я представил себе просторный зал ожидания и твою маленькую фигурку среди обиденных твоих попутчиков. Ты, наверное, сейчас дремлешь, прикрывшись старенькой ватной фуфайкой и прислонив голову к громадному туго-набитому рюкзаку, а твои длинные волосы стекают из под вязаной шапочки на девичьи нежные щеки, губы и подбородок.

И, стоя на балконе, в тускло озаренном тумане дождя, я внезапно понял, как смутился бы ты, если бы я появился сейчас в аэропорту; как испугался бы, чтобы не заметили меня твои мужественные попутчики. Я отчетливо увидел себя, воровато крадущегося мимо твоих товарищей, старого толстяка с седи-

ми полс-волосами, эдакого каррикатурного сатира, тайком поглядывающего за спящей нимфой.

Если бы ты был девушкой, то моя фигура показалась бы просто смешной и жалкой. Но ты юноша, и от этого мое впечатление к тебе становится непристойным. Это произвольная и совершенно бесцельная игра чувств, столь же извращенная, причудливая, непонятная и необъяснимая, как противоестественное желание говорить стихами или извлекать из музыкальных инструментов звуки, которых не существует в природе.

Мое преклонение перед тобой, его двусмысленность и бесцельность, пронзает меня радостью, которая, наверное, сопутствует всякому художественному акту. Но так же, как и всякий художественный акт, оно окрашено некоторым драматизмом. По всей вероятности многие бескорыстные художники чувствуют несоответствие своей эфемерной игры словами, красками или звуками, их неприменимости и бесполезности в мире практически полезной деятельности.

Я вернулся с балкона в комнату, в мою каюту, к моему надежному /безнадежному?/ столу, к лампе, к дивану — но осколками еще недавней пристойности, разбитой твоим телефонным звонком, валялись повсюду. Я пытался собрать их в кучу: включил магнитофон, сел за пишущую машинку. Однако, магнитофон разносил только тревожный и четкий ритм твоего сердца, а машинка издавала редкие удары твоего пальца — так, неуверенно, одним пальцем, ты выстукивал на ней свои и чужие стихи. А мне все мерещился и мерещился эльфический облик моего Божка, сошедшего на землю, чтобы озарить мою старость.

3.

Лет в четырнадцать или пятнадцать я потерял веру в

сурового Бога Саваофа. Это была тяжелая потеря. Будто я осиротел. Будто меня выгнали из дома под хмурое дождливое небо, и я остался во мраке неоглядного поля одинокий и беззащитный.

Потом мне удалось найти новое Божество. Им был Разум. Он взял меня за руку и повел за собой уверенно и властно. Он вел меня за собой четким строевым шагом и привел, как не трудно догадаться, на фронт. И там, еще до первой атаки, еще до первого боя, он сбросил с себя свою фальшивую солидную бороду и оказался избалованным, капризным, глупым и злым мальчишкой.

Само собой разумеется, что он не мог больше быть моим Богом, и я пихнул его коленкой под зад, полагая, что найду себе Божество более милое моему сердцу. И нашел. Им был Христос.

Христос был очень обольстительным Божеством, исполненным обаяния, бескорыстия и жертвенности. Особая прелесть его заключалась для меня в том, что он был одновременно смертной плотью и бессмертным Словом. Слово, идея стали плотью и потеряли свою отвлеченность.

Но царствовал Христос в моем сердце тоже недолго. Лишь столько времени, сколько требовалось, чтобы прочитать все четыре Евангелия. А когда я стал читать историю Христовой церкви, то престол моего нового Божества зашатался, потому что под знаменем Христа проливалось несколько не меньше крови, чем под знаменем Бога Саваофа и Бога Разума.

И я снова остался без Бога. Один. В пустом поле. Под вечными звездами.

Опять годы паломничества. Налево. Направо. Вверх. Вниз. От себя. К себе. Трудные годы... Но все-таки мне удалось воздвигнуть в своем сердце новое Божество. Им был я сам, не желающий ни над кем властвовать, никого учить, ничего перекра-

ивать, покорно несущий бремя своих страстей и обязанностей. Это был самый приемлемый Бог в галлерее недолговечных моих Богов. Но и он торжествовал в моем сердце лишь до тех пор, пока был мужественен и уверен в себе, как и полагается быть всякому пристойному Богу. Но, когда пришла старость и морщины избороздили мое божественное лицо, и отвислое брюхо восторжествовало над моей немощной плотью, то я уже не мог опереться на плечо своего одряхлевшего Бога, а сам должен был подставлять ему плечо.

И сердце мое возжаждало нового Бога.

И он явился ко мне, новый Бог, похожий на нераспустившийся бутон тюльпана.

Хрупкий и нежный телом, как девочка, но с мятежной и ищущей подвигов душой юности, и с плотским вожделением зрелого мужа — с вожделением скопившемся в его юношески-женственном теле, но не пущенном в цель. От этого весь облик моего юного Бога был пластичен, грациозен и тревожен, как тонкий лук с туго натянутой тетивой.

Отличается мой нынешний Бог от всех прежних своей юностью. А юность это нечто текучее. Она протекает через каждого человека, ни в ком не задерживаясь. Она бистротечна в масштабах одной жизни и немиссияема в масштабах человечества. Юность — неопытна, беззащитна, доверчива. От этого она иногда и держится с наигранным апломбом. Но в действительности у юности нет апломба ни Бога Саваофа, ни Бога Разума, ни Иисуса Христа, ни моего собственного. Юность не выдает себя за истину.

И я поклоняюсь моему Богу, ЕГО БОЖЕСТВЕННОЙ НЕИСТИННОСТИ. Я ПОКЛОНЯЮСЬ ЕГО ИЗМЕНЧИВОСТИ, НЕДОЛГОВЕЧНОСТИ И ВЕЧНОСТИ. ЕГО ДУХОВНОСТИ, ЕЩЕ НЕ УСПЕВШЕЙ ЗАМАТЕРЕТЬ В ТЯЖКИХ КАК КАМНИ, ИДЕЯХ. ЕГО ВОЖДЕЛЕНИЮ, ЕЩЕ НЕ УСПЕВШЕМУ

ОПЛОДОТВОРИТЬ ЖЕНЩИНУ. ЕГО СТАНУ, ЕЩЕ НЕ УСПЕВШЕМУ ПРИОБРЕС-
ТИ МУЖЕСТВЕННОСТИ.

4.

Мой маленький предестинный Вожок!

Когда ты первый раз пришел ко мне, то почти ничего не говорил, только смотрел и слушал. Я сидел за своим столом, старый, толстый и снисходительный. Читал тебе стихи любимых поэтов и чему-то научал, покуривая свою верную трубку. И весь мой старческий скептицизм наверное подтачивал и подтачивал в тебе еще не окрепшее знание всех тех норм, всех тех "хорошо" и "плохо", всего общепринятого и устойчивого, что внушали тебе дома, в школе, в университете. А ты сидел наискосок от меня, тоненький, с длинными волосами, с нечетким профилем, как бы небрежно но вдохновенно начерченным гениальной рукой; сидел весь сжавшись в кулачок, и смотрел и слушал. И твой взгляд, в котором были сосредоточены и зрение, и слух, и тишина, и вся твоя внутренняя напряженность, как бы затягивал, засасывал меня, и я с головокружительным упоением летел в какую-то бездну.

Но эта бездна была не внизу, а наверху. Она распахивалась надо мной, как небо. Она засасывала меня, как небо, когда лежишь в летний день на спине, и перед глазами нет ничего, кроме синего пространства, кроме ее вневременной протяженности и внепространственной глубины.

Я падал, падал и падал в тебя, в высоту, в будущее, в сверхличное, в вечное, чувствуя при этом отчаянный страх и радость... Все падал и падал вверх, возносясь к каким-то неведомым высотам. И, когда однажды взглянул вниз, то с трудом различил там, в далеком прошлом, в бездонном низу, еле замет-

ного крохотного седого старика, читающего стихи прелестной бабочке, которая каждую секунду могла взмахнуть крыльями и улететь.

На улице уже не шли трамваи. Раскрытая дверь вела на балкон, который, как лодка в спокойной озере, плавал в белой ночи. Высокие, стоявшие на изрядном расстоянии друг от друга, дома были окрашены в синеватые тона. Белая ночь звенела от напряжения и какой-то зеркальной тишины.

Потом ты читал мне свои стихи. И твой голос звучал, как эта ночь, так же тихо, напряженно и зеркально, и стихи шли передо мной, как лодка между зеркальностью воды и неба. Редко расставленные странные слова были похожи на свои отражения или на капли воды, падавшие в воду. И эти слова, и эти капли, и ты сам, и балкон, плывущий в белой ночи, и мое непрекращающееся головокружительное отчаянно-радостное падение вверх — все это мне вспоминается, как отражение чего-то, чего, может быть и не было, и не могло быть вовсе.

5.

Я не знаю, как проявляется старость у других людей. У прославленных деятелей теории и практики она, по всей вероятности, проявляется в наивном самообольщении своей значительностью. Их открытия и изобретения, их социальные системы, их сочетания слов и понятий кажутся им самыми истинными. Их кипучая деятельность во имя этих открытий, изобретений, систем и сочетаний понятий кажутся им движением человечества вперед /вверх? вниз? в сторону?/, а свои вставные зубы, седину и лысину они носят, как почетные награды, перед которыми все, кто моложе, должны почтительно снимать шляпу.

У большинства людей ничем не прославленных, старость проявляется, как освобождение от гнета своего будущего— ответственности за него и заботы о нем. Гипертрофированное прошлое, по самому своему существу, пассивно— оно не требует ни решений, ни поисков, не вызывает колебаний. С прошлым приятно цацкаться. Оно подобно кукле. Ее можно наряжать в различные платья. С ней можно потешаться и кокетничать. Так кокетничают со своим прошлым многие тысячи стариков— со своим военным прошлым, со своим любовным прошлым, со своим революционным прошлым, со своим наивным прошлым.

В отличие от других стариков— прославленных и непрославленных— я на склоне лет впал в детство, или иначе говоря, в глупость /а может быть, это и есть свобода?/ Я перестал понимать то, что понятно всем: что такое духовность? За что нужно уважать историю? Какая польза от культуры? Почему дважды два равно четырем, а не пяти или пятнадцати?

Если бы меня вызвали сейчас к доске, я не мог бы ответить ни на один вопрос и решить ни одной задачи. Поэтому мне хочется грубить учителям, снываться с уроков или хулиганить в классе. Причем, в отличие от моих десятилетних или двенадцатилетних единомышленников, мне это ничем не грозит: меня не оставят на второй год, моих родителей не вызовут в школу, и никто не скажет, что меня ждет будущее бездельника и оболтуса, так как всем понятно, что независимо от моего трудолюбия и прилежания, меня ждет только печь крематория.

Почему же я сейчас сижу за машинкой на обломках своей жизни и долблю клювом скорлупу яйца, в надежде /без надежды?/ вылезти из нее беспомощным, мокрым и беззащитным, как цыпленок?

Не потому ли, что я еще жив: способен радоваться и печа-

литься, любить и ненавидеть? А все мои мысли о старости, так же, как и все мои рассуждения, так же, как и эти жалкие письма, быть может, лишь скорлупа, лишь отходы чувственной жизни, т.е. единственно реальной жизни.

6.

Мой маленький прелестный Божок!

Сегодня я уже не ошибаюсь, ^{ты} не позвонил ни утром, ни вечером, значит ты сейчас действительно уже где-то там, далеко и высоко, взбираешься на гору, согнувшись под тяжестью своего рюкзака.

Снизу, наверное, заметно, что на фоне снежного склона горы копошится несколько черных точек и, глядя на одну из этих точек, люди внизу наверное и тебя принимают за человека, за мужественного человека, противопоставляющего свою волю стихийности природы, и даже не догадываясь, что эта маленькая точка лишь обман, лишь твоя одежда и твой рюкзак, а подлинный ты совсем другой — легкокрытый эльф, каждый раз незаметно выпархивающий из скорлупы, по которой я много лет /всю жизнь/ терпеливо был тупым молотком своего разума /клова/.

И в моей жизни ты выпорхнул однажды из стихов, выпорхнул нежный, настороженный, недоверчивый, полумальчик-полудевочка, получеловек-полузверюшка, полуреальность-полумысел.

Когда я разглядел тебя получше, если только можно разглядеть нечто совсем прозрачное, то понял, что всю жизнь был окружен невыносимо тяжелыми, устойчивыми, объемными предметами и людьми. Все, что меня окружало до встречи с тобой имело четкие формы, углы, края, грани, плоскости, названия, объяснения. Все было порождено какими-то причинами и порождало какие-то следствия. Все подчинялось законам физики, химии, ге-

ометрии, логики и. должно быть, именно поэтому тяжесть жизненного опыта лежала на мне, как могильная плита. И так как эта могильная плита, подобно всем другим предметам, была до отворачивания реальна, то я уже смиренно готовился улечься под нее поудобнее, втиснуться в землю, в глину, в историю, в мессиво лет, тел, имен, воспоминаний.

Я готовился к этому последнему в моей жизни делу спокойно и не спеша, с четким /и тоже тяжелым в смысле веса/ сознанием, что мой жизненный цикл завершен, что все узлы развязаны и занавес опускается.

И в это время я увидел очертания твоего мальчишко-девочкиного лица, услышал твою неуверенную дудочку, и на своем старческом лбу почувствовал твое дыхание.

Это дыхание было не похоже ни на что другое, испытанное мною прежде. Это было дуновение чего-то не имеющего ни названия, ни формы, ни начала, ни конца, ни прошлого, ни будущего.

И тогда я догадался, что перед моей смертью меня посетит то Божество, которое живет в каждом произведении искусства, одухотворяя его своим дыханием.

Я догадался об этом, когда услышал, как ты читаешь стихи поэта В.

Поэт В. был человек больной. Он с трудом ходил, опираясь на палку. Тело не слушалось его: казалось, что каждая рука и нога хотят идти в другую сторону; и только, когда он садился в кресло, и ему больше были не нужны ни палка, ни ноги, ни руки, он обретал величие и спокойную уверенность в себе, как бы становился рупором чьего-то весьма значительного и, быть может, даже не очень понятного самому поэту, голоса, который жил самостоятельной жизнью в его ненадежном теле.

Поэт читал свои стихи монотонно, ничего в них не подчеркивая, и содержание его стихов ~~было~~ как бы тонуло, расплыва-лось в каких-то звуковых ассоциациях, как в густом тумане, из которого редкими островками отчетливо проступали отдельные слова во всей своей реальной и предметной подлинности.

По этим вершинам гор, выступающим из тумана, в моем воображении рисовалась величественная горная страна, где все вырублено природой незблемо и навечно. И этот голос — голос надежности, уверенности и мужества, вызывал у меня мучительную зависть.

Ты слушал эти стихи, как слушал стихи других поэтов, приходящих ко мне — молчаливо и напряженно, как бы впитывая их в себя. И стихи эти падали в тебя, в какую-то твою глубину, так что несколько дней спустя ты как бы совсем даже и не помнил их. И вдруг, через какое-то время эти строфы начинали подниматься в тебе из глубины, из каких-то недр: поднимались преображенные, ставшие почти что твоими собственными стихами. Они вырывались из тебя, как облака, такие же причудливые, пыльные и изменчивые, и когда ты стал говорить мне об этих не своих /не своих?/ стихах, то меня поразило, что в отличие от всех иных людей, рассматривающих произведения искусства извне, ты рассматривал их изнутри — рассматривал алмаз стихотворения не как потребитель, любующийся светом, который этот алмаз излучает, а как бы сам находился внутри алмаза, сам являлся тем источником света, который преломляясь сквозь грани кристалла, озаряет нас своим сиянием. А способность излучать свет — это, наверное, и есть то, что называют духовностью, или художественностью, или никак не называют, но чувствуют божественность, которая отличает живую бабочку, от бабочки из коллекции.

А ты излучаешь этот свет, мой маленький прелестный Божок! Ты, как свичка поджег мой еще не погасший костер, и языки пламени рвутся к небу.

Не покидай мой дом — свою часовню, свою пылающую часовню. Она пылает шумно и весело, с треском обуглившимся строением, с искрами, разлетающимися вокруг.

Какая беспокойная ночь. Какая праздничная и тревожная. Не покидай свою часовню, не покидай ее! Пусть пылает она все ярче и ярче. Тебе это ничем не грозит — ты — бесплотен, как искра, и также мгновенен, и также неуловим. И, быть может, только это и влечет меня к тебе и только этому я поклоняюсь.

7.

Но он больше не вернется в свою часовню, мой маленький последний Божок. Ему нужны дали, скалы, ущелья, облака. А я по-прежнему, но уже почти без сил и надежды, вылизываюсь из яйца, как цыпленок. Рано утром я начинаю долбить скорлупу своих вчерашних иллюзий и занимаюсь этим до позднего вечера, как делал это вчера, год назад, десять лет назад, сорок лет назад. И, может быть, Бог даст, к ночи /к моей последней ночи/ я все-таки вылизуюсь из яйца и стану беспомощным и отважным, как новорожденный цыпленок. Или как ты, мой Божок, которому, как и всякой вности, как и всякому беспомощному, отважному и вечно юному Богу, никто на свете не может помочь — ни снисходительные тебе нме к тебе мудрецы, ни обожествляющие тебя глупцы. Потому что БОГ ОДИН, И ОН САМ, В ТРАГИЧЕСКОМ ОДИНОЧЕСТВЕ НЕПРЕС-ТАННО ТВОРИТ СВОЙ ИЗМЕНЧИВЫЙ МИР, УТВЕРЖДАЯ ТЕМ САМЫМ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ.

Май — Октябрь 1974 г.

Ленинград.